

Произведения искусства существуют не сами по себе, а только в контакте с нами. Книга, стоящая на полке, картина, на которую никто не смотрит, спектакль без зрителей — их нет. Или они находятся в анабиозе до того момента, как мы начинаем с ними общаться.

Восприятие произведения искусства — это всегда диалог. Читатель — всегда соавтор. Именно потому так нужны нам книги — больше, чем кино (которое я люблю). Книга, в которую ты погружаешься, делает тебя соучастником того, что в ней происходит (а в фильмах ты получаешь всё готовеньким, так, как это увидел режиссер, твоё участие минимально). Ты симпатизируешь одним, ненавидишь других, сам участвуешь во всех событиях, твоё воображение рисует, как выглядят герои. И совершенно неважно, что писатель представлял это по-другому — каждый читатель создает свою книгу, видит в ней своё. Поэтому так часто не совпадают наши представления о любимой книжке — ведь это только кажется, что мы говорим об одной и той же, а у каждого она своя.

Меня всегда поражало, что когда писатель сам рассказывает о своем произведении, об идеях, задачах, которые он ставил перед собой, это чаще всего скучно и даже убого как-то. И совсем не совпадает с твоим восприятием. Но это нормально, потому что автор выразил всё в книге — от первого слова до последнего.

А когда он, становясь сам себе литературоведом, пытается всё передать в коротком интервью, это неизбежно звучит примитивно. Мне кажется, писателям лучше не отвечать на такие вопросы. Написал — и молчи. Всё есть в книге. Она зажила своей жизнью, и если она чего-то стоит, то будет разговаривать с читателями еще долго-долго. И с новыми поколениями обсуждать то, что ее создатель и не предполагал в нее вложить, но оно само проступило и зазвучало. А иначе, кто бы ставил «Гамлета», снова и снова — уже сколько веков? Мы откликаемся на то, что волнует нас сегодня и сейчас, и значит, «Гамлет» заговорил о тревогах нашего XXI века. То, о чем Шекспир никак не мог знать.

Поэтому же, когда мы перечитываем книгу через значительный отрезок жизни, она всякий раз говорит с нами о другом, мы видим в ней другие сюжеты, другие проблемы, часто и других героев. Собственно, это совсем другая книга.

Крутой маршрут

Книга «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург — это первая самиздатная лагерная вещь, прочитанная в двенадцать лет. Она меня скрутила и сплющила. Мне эти ужасы снились. Я не понимала, как люди могут творить такое с людьми.



Евгения Гинзбург, ее муж Павел Аксенов и сын Василий

Куски оттуда застряли в памяти пожизненно, хотя после читано-перечитано несметное количество лагерных материалов. Да и рассказы собственного деда, отрубившего 25 лет в лагерях и ссылках, и воспоминания его солагерников, друзей дома, кажется, не оставили никаких неизвестных. Но сейчас, годы спустя, захотелось проверить эти полудетские впечатления от книги.

Впечатление многосложное. Главное осталось: ужас перед упырями, захватившими власть и превращающими абсолютно невинных людей в лагерную пыль. Никакой целесообразностью этого разгула нечисти не объяснить — уничтожались самые искренне преданные новому строю люди.

Второе, восхищение духовными и физическими силами Евгении Гинзбург, которая в том аду читала наизусть «Евгения Онегина» и тысячи стихов, Блока, Пастернака, и писала свои, наивные, и поддерживала тех, кто рядом, и чувствовала свою личную необходимость запоминать имена и судьбы, чтобы когда-нибудь рассказать. Хотя это «когда-нибудь» было предельно иллюзорно — смерть стояла вплотную каждый день.

Но не могу не отметить, что ее окружали и волновали, прежде всего, люди своего слоя — коммунисты при власти, парторги, секретари обкомов, сброшенные с высоких постов в лагерный ужас. Многие из них и в лагере оставались истовыми сталинистами, считающими себя жертвами ошибки, а всех остальных шпионами и врагами.

Да, язык ее документальной повести банален и наполнен литературными штампами, особенно в первой части. Да, суждения ее часто резки и чужды. Да, ее возвращение в ту же коммунистическую партию после реабилитации вызывает недоумение.

Но постепенно штампы отступают, язык рассказа меняется. Ты погружаешься в ту реальность, тонешь в ней. Вслед за Евгенией Гинзбург арестован ее муж, потом старые родители. Родителей выпускают, но лишают жилья, отец умирает быстро, мать позже, так и не свидевшись с дочерью. Дети отданы в семьи родственников, старший сын погибает во время блокады Ленинграда.

Круги ада сменяют друг друга — то передышка на лагерной птицеферме, где можно подкормиться, украв пшеницу у кур, то снова каменоломня среди угодниц, и там выжить нельзя. И так этот маятник качается туда-сюда десять лет.

Вот, освободили, но только в Магадане, под надзор. И вторая посадка, когда «повторников» гребли без малейшей причины, по новому параноидальному указу из Кремля, просто слоями, по алфавиту. И снова монстры вырывают Гинзбург из маленькой человеческой жизни, из счастья в восьмиметровой комнатке барака. Где живет и лагерная подруга, и муж-зэк, и приехавший «с материка» сын Вася, и приемная дочка.

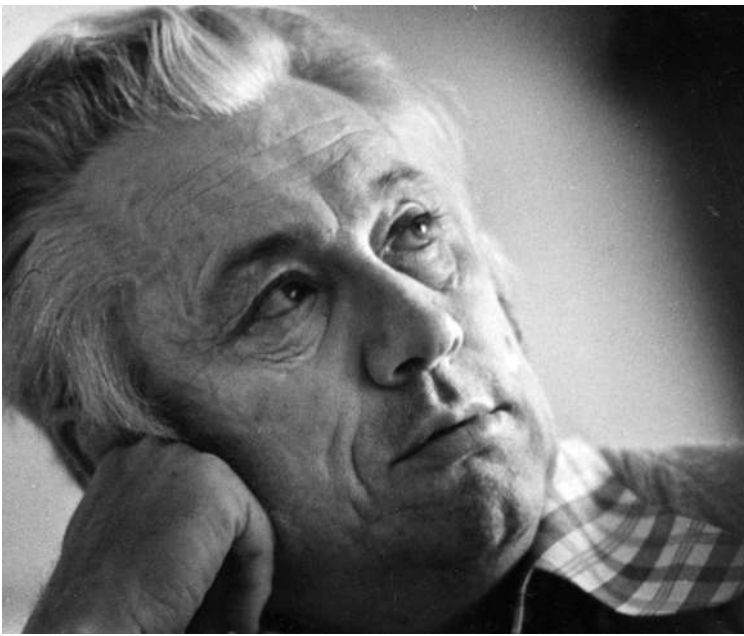
А потом реальная угроза третьего срока, по доносу стукача. Потеря работы у обоих сразу — у Гинзбург и у ее второго мужа, врача, немца-католика. И пятилетнюю приемную дочку выгоняют из детского сада, а там ведь хоть кормили. А в доме реальный голод, и вот-вот загонят в тот же лагерь.

Сколько может вынести душа человеческая? Но смерть главного Любоеда остановила запущенный механизм новой посадки. «Крутой маршрут» — одно из первых лагерных свидетельств, остается страшным приговором банде нелюдей, захватившей власть. И каждая раздавленная жизнь, помноженная на переломанные судьбы родных и близких — это набат, который до сих пор не прогремел.

Дневники Нагибина

Читаю дневники Юрия Нагибина, отданные им в типографию незадолго до смерти. Поразительная судьба человека и писателя. Приходится их немного разделить, хоть это и неверно. Человек, зараженный бациллой писательства, продолжает оставаться литератором, даже когда пишет интимный дневник для себя, долгие годы, искренне не предполагая, что эта писанина станет всеобщим достоянием. Но какой-то чертик в мозгу знает это и заставляет стилистически оттачивать фразы дневника, заменять имена псевдонимами (Белла-Гелла) и оставлять трудные лакуны в годах долгой жизни.

Юрий Нагибин — уникальное явление периода Советов. Полжизни страдал от ущербности своего полуеврейства. И уже взрослым узнав, что его реальным отцом был не отчим Марк Яковлевич Левенталь, а русский дворянин, расстрелянный в Сибири как участник крестьянского бунта, Нагибин сначала обрадо-



Юрий Нагибин

вался — наконец-то он полноценный русак! Пил, гулял, бил морды, как Степка Разин. Потом оскорбился собственным оскотиниванием и вдруг это всё обернулось нежностью и любовью к своему приемному отцу-еврею (и всему еврейскому племени), который женился на беременной его матери-дворянке в 1920 году и спас его детскую жизнь на заре Советской власти.

Дальше много всего разного, включая фронтową контузию Второй мировой. И попадание в высший эшелон советской литературной элиты — сценарии для кино и театра, огромные тиражи, и следствием потрясающее благополучие: деньги, дача, прислуга, повар, садовник, шофер, заграничные поездки — жалкая роскошь избранных, прикормленных Кремлем — тех, кто работал на идеологию. И огромные тиражи рассказов и повестей. Всё это раскупалось, потому что наблюдательно, талантливо, особенно об охоте, рыбалке, природе. Богатый язык, отточенный стиль, острая наблюдательность — в рамках разрешенного цензурой... Максимум таланта и свободы из того, что предоставляло из словесной пищи глухое брежневское время.

И вот, когда приходит последний закат жизни, когда большинство одержимо пишущих людей перестает писать — поскольку это физиологическая потребность, которая в какой-то момент иссякает, как и всё прочее в организме... буквально на пороге смерти этот обласканный властью и осыпанный всеми материальными благами из закрытых распределителей писатель, вдруг взрывается целым рядом произведений, которые выбрасывают его из кучки талантливых приспособленцев — на одинокую и острую скалу бесстрашия и немислимой от-

кровности, мучительной ненависти к своему русскому народу, болезненной любви к евреям.

Это его «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща» и дневник всей жизни, хоть и с большими купюрами. От чтения всего этого трясёт. Эти тексты наполнены такой свободой, ненавистью, яростью, горячей, ничем не сдерживаемой физической страстью, что начинаешь понимать, в какой внутренней тюрьме он жил всю жизнь, и какой заряд злобы к существующему строю, своему окружению и собственной подлости он накопил.

И вот этот мучительный диссонанс между барским благополучием, сытостью признанного автора и его омерзением ко всему вокруг позволил Нагибину, вопреки всем обстоятельствам (мало ли даровитых литераторов теряли свою сбежавшую музу, оскорбленную конформизмом и ложью), сохранить своё перо. Его ярость, ненависть, страсть так сильны, что сносят логику и стилистику текста, как девятый вал. Где-то ему даже отказывает вкус. Но в потоке самоизничтожения, брезгливости к собственной мелкой подлости, понимания всей разлагающей остатки порядочности советской жизни, Нагибин доходит до края отчаяния. И это делает его посмертные вещи явлением культуры и истории той несчастной страны, в которой он родился, жил и умер.

Утоли моя печали

Война, лагерь, «шарашка», кусок жизни после освобождения. Что тут скажешь нового? Всё читано, слушано, знакомо, почти прожито. Ан нет.

Талант — особая субстанция. Лев Копелев (выведенный Солженицыным в «Круге первом» под именем Рубина), полиглот, германист, лингвист — дьявольски, ослепительно талантлив. Наделенный даром к слову и фантастической памятью, он передает разговоры в тюрьме, лагере и на шарашке так точно, подробно и с такими характерными особенностями речи, присущими конкретному человеку, как будто не прошли десятилетия со времени беседы, как будто он записал это в дневнике в тот же вечер, по свежему следу. Как будто ты сам сидишь в той же камере и слушаешь этого работягу или белогвардейца, или немца-коммуниста, власовца, профессора математики или стукача... И перед тобой творится история, проклятая история XX века, когда сталинско-гитлеровская мясорубка молола без разбора все судьбы, друзей и врагов, правых и виноватых, стариков и мальчишек-романтиков...

Особенно интересно мне было читать «Утоли моя печали» — исконное название церкви, где расположилась «шарашка», описанная Солженицыным в «Круге первом». Потому что я люблю эту вещь, потому что узнавала ее героев, весь этот мир первого круга лагерного ада.

Тут, пожалуй, нужно отступление. Я склоняю голову перед Солженицыным за его великий труд «Архипелаг ГУЛАГ». Эта вещь промыла глаза Западу, сдернула флер романтизма со страны «победивших рабочих», да и своим, российским



Лев Копелев

гражданам, навсегда, страшно и точно, объяснила, как прямо с 1917 года начала строиться система ГУЛАГа, как и почему она крепла, набирала обороты и силу, и какое многомиллионное количество россиян — тьмы и тьмы, и тьмы — страшнее, чем монголо-татарское иго, пали жертвами уголовной банды, захватившей власть, и возвращенного ими Министерства Правды, по Орвеллу — ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, как ни назови. Ну, только тем, кто умеет читать и готов слышать, увы.

Я считаю блестящими первые опыты Александра Исаевича в прозе: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка».

В самиздате, в бледно-зеленой, седьмой машинописной копии, за ночь, в девятном классе, прочла «Раковый корпус», была впечатлена, но после не перечитывала, так что мнения не имею.

Поздние вещи, «Красное колесо», «Как нам обустроить Россию» и пр. писал уже другой человек и писатель, решивший категорически, что именно он знает, «как надо», и тут уж моё читательское «я» отпало. «Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!» А «Двести лет вместе» — уже настолько банальная черносотенная вещь, что одолела первые пятьдесят страниц и отмахнулась навсегда.

Это всё к тому, что «В круге первом», раннюю вещь, я любила и люблю. А вставная глава про Сталина, меняющая стиль романа, и, я бы сказала, цвет, блистательна. И герои романа: Рубин, Сологдин, Нержин, со всеми их спорами, ссорами и нестыковками мне остро интересны.

Но вот я читаю документальную вещь Копелева (Рубина) о той же шарашке. И понимаю, что мне это интереснее, чем мастерская, художественная вещь Сол-

женицына. Копелеву веришь сразу и абсолютно. Он не судит, не осуждает своих солагерников, они ему все интересны по-человечески, большинство — люди яркие, все с перекрученной, перемолотой судьбой. Единственно к кому он безжалостен — к себе. Все случаи своей глупости, трусости, идеологической слепоты, одержимости идеей революции и веры в гений Сталина — он излагает точно и жестко. Понадобился лагерь и годы после него, чтобы отказаться от всей этой мерзости.

Узнаешь в записках Копелева знакомый быт и работу шарашки: эзков, вольняшек, «кумов», вертухаев и стукачей. Узнаешь споры близкой троицы друзей: Солженицына (Нержина), Панина (Сологодина), Копелева (Рубина).

Но вот что меня огорчило и как-то расстроило. Рубин и Сологдин у Солженицына очень узнаваемы. А вот его alter ego — Нержин — весьма далек от своего прототипа, более бескорыстный, романтический, мудрый. И это, к сожалению, мельчит автора романа.

Один пример. Когда Копелеву поручили определить по телефонному разговору человека, который звонил в канадское посольство и сообщал о краже советским разведчиком чертежей атомной бомбы (поразительно, но это не фантазия Солженицына, это было!), он делится этим страшным секретом с ближайшим другом Солженицыным. В книге Нержин, выслушав, говорит Рубину, что тот парень, что звонил, был прав — смертельно опасно давать такое оружие в руки Сталину.

«— Но шутки в сторону! — спохватился опять Рубин. — Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу?..

— Ты спутал, Левочка, — нежно коснулся отворота его шинели Глеб. — Бомба — на Западе, ее там изобрели, а вы воруете.

— Ее там и кинули! — блеснул коричнево Рубин. — А ты согласен мириться? Ты — потворствуешь этому прыщу?

Нержин ответил в той же заботливой форме:

— Левочка! Поэзия и жизнь — да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же — твой Алеша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь — иди бери.

— А ты — не пойдешь? — ожесточел взгляд Рубина.

— Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

— А по-твоему — воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

— Как изолировать?! Идеалистический бред!

— Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали — надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!»

«В круге первом»

А в жизни Солженицын полностью одобрил Копелева в его желании отловить врага отечества. Да и загремел в лагерь с шарашки Солженицын не потому,

что невольно ему было за приличные бытовые условия губить душу, работая над заказами НКВД. Работал и очень успешно. Но зарвался, раздолбал на собрании проект начальника, и тот его мстительно выкинул на этап.

И многое-многое, из того, что описано в романе, происходило тогда, когда Солженицына на шарашке уже не было, он пользовался для этого воспоминаниями Копелева. Скажем, о впечатлении, когда эков на свидание везли не в воронке, а в автобусе, и Копелев, отсидевший уже шесть лет, был потрясен количеством и видом веселых детей на улицах. Или день, когда львиную часть эков неожиданно дернули с шарашки на этап, что Копелев назвал «Утро стрелецкой казни».

Писатель имеет право, конечно, пользоваться любыми материалами для своей работы, но как-то после запойного чтения мемуаров Льва Копелева, роман «В круге первом» для меня потерял ряд красок.

Но я не стараюсь навязать свое немного покосившееся отношение к роману Александра Исаевича, а просто рекомендую каждому, кто интересуется российской историей XX века, прочесть воспоминания Льва Копелева. Начать — не оторваться.

Иосиф и его братья

Впервые прочитала книгу «Иосиф и его братья» в тринадцать лет. Родители взяли с собой эти два увесистых тома на хутор в Игналину, где мы проводили лето, и Томас Манн переходил из рук в руки, мы читали его все, и, случалось, спорили, кому сейчас брать книгу — оторваться было трудно.

Тогда радостно поразило: удивительные, но слишком короткие библейские истории жили в диалогах и подробностях — этого так не хватало в первоисточнике! Хотелось узнать еще и еще — и вот, пожалуйста!

Перечитала уже в Израиле. И книга зазвучала совсем иначе. Сказочные таинственные названия оказались географической реальностью, в которой я живу.

В Беэр-Шеве родились и выросли Иаков и Эсав, оттуда Иаков бежал, обманом выманив первородство у брата. Где-то на Гилеадском хребте Лаван догнал Иакова, тайно ушедшего из его дома вместе с чадами, домочадцами и нажитым богатством. В Шхеме сыновья Иакова устроили резню в отместку за сестру Дину. Могила Рахили, пещера в Хевроне, купленная Авраамом и ставшая фамильным склепом, Бейт-Эль, где Иакову приснился сон о лестнице — всё это в часе, двух часах езды от меня, и я везде была, и ощущала себя внутри древней истории, которая приблизилась до того, что ее можно потрогать руками.

А сейчас снова потянуло к этой книге, и чтение доставляет почти физическое наслаждение. Ее построение напоминает симфонию. Сюжеты сплетаются и повторяются по-разному, не надоедая. То в пересказе автора, то в реальном времени жизни героев, то лаконичным упоминанием, то в изложении Иакова или Иосифа кому-то из слушателей. Иногда серьезно и драматично, иногда весело и шутливо. Одна и та же история случается в жизни богов разных народов и в жиз-



Томас Манн

ни людей. Мотивы поочередно то становятся главной темой рассказа, то уходят в фон. Ничего лобового, линейного, всё многослойно, многосмысленно. Простое на первый взгляд начинает двоиться, троиться, обыгрывает самое себя.

Все становятся участниками некоей высшей сложной игры, все обманывают и оказываются обманутыми в разных моментах своей истории.

Авраам в Египте выдает свою жену Сару за сестру, обманывает египтян и уходит от них с нетронутой женой и большим богатством. Иаков, с помощью матери Ревекки, обманом выманивает первородство. Его обманывает Лаван, подсовывая в свадебную ночь зятю вместо любимой Рахили Лию. Иаков обводит Лавана знаменитой историей с пестрыми овцами. Рахиль обманом выманивает у сестры мандагоры.

Сыновья Иакова ложно обещают мир жителям Шхема, если все тамошние мужчины обрежутся, а когда те лежат слабые после обрезания, устраивают там резню и грабёж. Иосиф хитро выклянчивает у отца свадебный и праздничный наряд Рахили, тот самый кетонет-пассим, который вызовет яростную зависть братьев и приведет к продаже его в Египет, и заставит крутиться дальше сюжет его жизни и всю историю евреев.

А Фамарь? Какой восхитительный возвышенно-неприличный фарс! Притворившись храмовой проституткой, она зачала сыновей от своего тестя Иегуды, и один из близнецов стал предком царя Давида.

И боги Египта, Ассирии, Древней Греции и Вавилона постоянно обманывают друг друга и людей. И еврейский Бог обожает игру, иногда слишком тяжелую для человека, но он не всегда может соразмерить свою мощь. Обещал Аврааму обильное потомство и держал Сару бесплодной аж до девяноста лет. А потом

у нее, у которой давно закончилось всё женское, родился «этот смех», Исаак (Ицхак). Потребовал от Авраама принести в жертву Исаака и в последний момент подменил мальчика барашком.

Самые одухотворенные и мыслящие герои романа, Иаков и Иосиф, понимают эти игры Создателя, понимают, что без игры, шуток, сложного театрального действия Ему было бы скучно, а так Он веселится и продолжает историю мира. И мы понимаем, что творчество, игра — это божественный дар человеку, без них жизнь была бы плоской и убогой, и вся бы сводилась к тоскливому выживанию среди враждебных обстоятельств.

Время в романе — тоже постоянный участник общей игры — оно растягивается и сжимается, прошлое становится настоящим, будущее — вариантом прошлого. Верх и низ часто переворачиваются, подменяя друг дружку, самый успешный счастливчик оказывается на дне, в яме, во тьме, чтобы при новом повороте снова оказаться на вершине, и так снова и снова.

И весь роман напоминает тот самый кетонет-пассим, то самое многосложное одеяние, которое часто называется в книге воздушно-тяжелым. Ткань его так легка, что, будь она одна, его можно было бы спрятать в кулак. Но она вся расшита золотыми, серебряными и разноцветными нитями, с огромным количеством символов, изображений историй богов. И его можно рассматривать и изучать часами, изыскивая всё новые смыслы и значения, чем и занимается Рахиль, когда ждет свадебной ночи, в которой женой станет не она, а ее сестра Лия.

Это свадебное одеяние — символ девственной чистоты невесты, которая перестанет быть девушкой после свадьбы. И когда братья Иосифа избивают его, срывают, разрывают этот кетонет, а потом вымачивают его в крови козленка, чтобы предъявить отцу как доказательство того, что мальчика растерзал лев — это тоже в каком-то смысле лишение девственности, переход Иосифа в иное состояние.

Братья тогда не знают, что и они — участники большой игры, что они вино-вно-невиновны. Ведь не соверши они этого, история евреев могла бы не состояться, они просто погибли бы за семь лет голода, если бы Иосиф не стал первым в Египте и не спас их.

Нам не дано видеть причин и связей в своей жизни, когда с нами что-то происходит. Но обернувшись в свое прошлое, наверно, каждый из нас замечает, как все случайности выплывают в сложный и интересный узор, в единое воздушно-тяжелое полотно, в котором есть смысл. Только взглядишь. А все вместе наши жизни — и есть история семьи, история народа и история человечества — История.